

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“И БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ...”

Размышления о судьбе и творчестве Юрия Кузнецова

I. Поминки

Мы с сыном Сергеем сидим за ужином в столовой санатория “Воробьёво”, что расположен в Калужской земле на высоком берегу извилистой речушки с былинным именем Суходрев, окружённой зарослями ольхи, и, оглядываясь на строгих официанток, потихоньку распиваем якобы минеральную воду из бутылки с этикеткой “Боржоми” – поминаем Юрия Поликарповича, поскольку сегодня, 17 ноября 2013 года исполнилось десять лет со дня его смерти.

Умер он легко, и отпевали его в церкви Большого Вознесенья, где Пушкин венчался с Натальей Гончаровой. А гражданскую панихиду в день похорон на Троекуровском кладбище довелось вести мне.

– Помянем?

– Помянем...

Выпили. Помолчали.

– Слушай, Серёжа, а ведь Поликарпыч, как пушкинский Вальсингам из “Пира во время чумы”, всю жизнь дразнил судьбу, азартно заигрывал со злом, словно бы вызывая его на поединок.

– Ну, конечно! Как он возвеличил леди Макбет, чьи руки был готов целовать за то, что ей придётся “гореть в аду на том и этом свете!”

Я подхватываю мысль Сергея:

– Да, он словно бы искал “неизъяснимы наслажденья” у “мрачной бездны на краю”. Да и “столб крутящейся пыли”, “одинокий и страшный”, – это, конечно, не от взрыва снаряда, это нечто другое, потустороннее... В тот же ряд можно поставить и “нечистый огонь из дупла”, обжигающий “долы и воды” родной земли, и ответ женщине на вопрос: “Где ты был?” – “На дне доходящая, на дне”, – и стихи о своём родстве с героями Гоголя:

*Да, и мне поднимать тяжело,
Словно Вию, заклятые веки
На великую правду и зло...*

Но почему он всё время давал злу равные права с добром? Отсюда и стихи о современном Апокалипсисе.

*Планета взорвана! И в ужасе
Мы разлетаемся во мрак.
Но всё, что падает и рушится,
Великий ноль зажал в кулак.*

А что такое Великий ноль? То ли Бог, то ли Сатана?.. Думай сам... "Сатаны нет? — вскрикнул он однажды в споре с друзьями-поэтами. — Да он в каждом из нас! В каждом сидящем здесь! И во мне..." Это был его бесстрашный ответ на человеческую светлую веру в то, что "в каждом из нас" есть "Образ Божий"!

— А его стихотворение про дуб? — подхватывает разговор Сергей. — Он ведь вывернул наизнанку русскую народную песню о дубе и рябине, которая мечтает "к дубу перебраться": вместо рябины рядом с дубом растёт куст, который "трепещет от ужаса" "и соседство своё проклинает". А в прогневшей сердцевине дуба "свищет нечистая сила". Но всё-таки дуб ещё стоит, корни его держат. А что символизирует дуб? То ли судьбу самого поэта, то ли судьбу России, внутри которой свистит нечистая сила. И чужая она этому дубу или родная, вырвавшаяся из его тухлявой сердцевинки? Ответа Поликарпыч не даёт, скорее всего, потому, что не знает его сам...

Я, чтобы не обострять спор, молчу о том, что однажды в нашем тройственном застолье (Поликарпыч, Кожинов и я) Вадим стал мне растолковывать, что дуб — это Россия или русский народ, а куст, растущий рядом, — это еврейство, которое опустошило сердцевину дуба и глядит на дело своих рук, и ужасается: защитить его некому, как в 1941 году: дуб сам едва-едва держится на земле... Вадим разглагольствовал, а Поликарпыч при этом молчал, выпивал, мрачно улыбался: мол, толкуйте мои стихи, как хотите. Я написал, а ваше дело понимать их, как знаете...

Но у сына разыгралась фантазия литературоведа:

— Юрий Поликарпович истово верил в силу поэтического слова! Недаром он в поэме "Сошествие в ад" всех врагов России загнал в преисподнюю словом и, подобно Пушкину, словом справлялся со всеми своими недругами и в жизни, и в литературе. Помнишь его стихотворный ответ Геннадию Ступину: мол, коли жаждешь бессмертия — "поди, возьми его", или эпиграмму, адресованную Валентину Устинову, жившему с ним на одной даче во Внуково, на первом этаже. Поликарпыч жил на втором, и после ссоры с Устиновым написал о том, как он сам сжигает черновики поэмы о Христе и с балкона посыпает этим "божественным пеплом" голову Устинова. Он ведь даже дочь свою, которая захотела выйти замуж за нерусского человека, предупредил: "Смотри, нарвёшься на стихотворение!" Он верил в силу слова, как будто жил во времена, когда "словом останавливали солнце, словом разрушали города"...

Я слушаю Сергея, но сам гну своё, более серьёзное, на мой взгляд, нежели кузнецовские эпиграммы.

— Он ходил по краю тёмной бездны, чтобы разглядеть её суть, её мощь, её масштабы. Она притягивала его, словно гоголевского героя из "Пропавшей грамоты", который садился играть с нечистой в карты и был уверен, что выиграет. А бесы радовались! "Он почти наш! Он нас признаёт!" Они ждали, когда дурак проиграется вдрызг и поставит на договоре о сотрудничестве с ними подпись своей кровью. Ах, как это по-русски! Такое Вальсингаму и не снилось! Немцам, чтобы заставить Фауста подписать договор с Мефистофелем, нужно было оформить сделку по всем законам средневековой европейской юриспруденции. А тут — карточная игра в очко! В которой мелкие бесы передёргивать умеют! Почти русская рулетка! Но Поликарпыч — не дурак. Он, как Хома Брут, подзатынул игру до петушиного "Кукареку!", крикнул: "Нечистые, прочь от пера!" — и вся нечисть бросилась наутёк, и в оконных щелях повисла, как тряпчатая ветошь!

Сергею очень нравится этот розыгрыш:

— Помянем?

— Помянем!

Мы налили по третьей...

— А помнишь, отец, как он говорил, что ему родиться бы в эпоху Святогора и Ильи Муромца?..

— Конечно! Однако ближе всех ему был Васька Буслаев, который "не верил ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай, а только в свой червлёный вяз", как писал в своей поэме его покровитель Сергей Наровчатов. А ты не знаешь, как Васька Буслаев погиб? Он же в Палестину, в святые места со своей ватагой ушкуйников новгородских нагрянул. Увидели они череп Адама и расхвастались: кто его, этот череп, сумеет перепрыгнуть с разбега. Никто не решился на такое кощунство, один Васька разбежался, прыгнул, да поскользнулся, ударился об Адамово темя бесшабашной своей головушкой и убился на-

смерть... И знаешь, какими словами былина кончается? “Тут ему, Ваське, и славу поют!” Череп отца, череп Йорика, череп Адама – как череп всего человечества, легший в основу горы Голгофы. Это тебе не греческий Олимп, не Парнас, не Золотая гора, а нечто посерьёзнее!

Сергей перескакивает на другую мысль:

– Ну, конечно! Он ведь жил с убеждением, что и в наше время “снова небесная битва / отразилась на русской земле”.

Я по-своему продолжаю Сергееву мысль:

– Но поскольку он, как лазутчик, часто проникал в адский стан, чтобы “проведать, чем дышит противник”, то, как рассвирепела эта нечисть, когда до неё дошло, что он изучил её, и за это знание не заплатил! И начала ему мелко мстить. Ты помнишь, что журнал обратился к читателям с просьбой присылать, кто сколько может, на памятник Юрию Поликарповичу? И когда, благодаря этим жертвованиям, Кузнецову был воздвигнут на могиле надгробный памятник, на последней странице обложки октябряского номера “Нашего современника” за 2005 год мы напечатали фотоснимок надгробья и под ним подпись:

“7 сентября, в солнечный и тёплый день московского “бабьего лета”, на Троекуровском кладбище столицы был торжественно открыт памятник великому русскому поэту, нашему современнику Юрию Поликарповичу Кузнецову.

Автор памятника, видный русский скульптор Пётр Чусовитин, друг покойного поэта, вырубил из мрамора крест, а в основание памятника вмонтировал медальон с фотографией Юры – молодого, весёлого, дерзкого, необыкновенно талантливого. Верен выбор фото: истинные поэты вечно юны. Так говорил Пушкин, которого Кузнецов боготворил.

Памятник был освящён другом и учеником Юрия Поликарповича – священником и поэтом о. Владимиром Неждановым.

Благодарим сердечно всех-всех, кто внёс свою лепту на установку памятника: “шапка по кругу” позволила создать памятник, к которому будут приходить поколение за поколением русские люди, чтущие Поэзию. Будут приходить – и замирать сердцем, прочитав на надгробной плите золотыми буквами начертанные бессмертные строки:

***... Но русскому сердцу везде одиноко.
И поле широко, и небо высоко”.***

Однако когда из типографии в редакцию привезли контрольный сигнал первого номера, и я прочитал текст на обложке, то ахнул: вместо слова “одиноко” стояло “одинаково”! **“И русскому сердцу везде одинаково”!** Представляю, как обрадовалась нечистая сила, сотворившая эту мелкую пакость! Обложка для всего тиража уже была напечатана. Что делать? Ни одного номера журнала с такой ошибкой не должно было выйти в свет! Я звоню в типографию, спрашиваю, сколько стоит заново отпечатать обложки для десяти тысяч номеров, соглашаюсь заплатить немалые деньги, и тираж с исправленным словом через неделю пошёл к читателям. Нечисть была посрамлена! Кстати, и с посмертной книжкой поэта произошло нечто подобное. Сам Юра, её составивший, дал ей название “Крестный путь”, а на обложке стояло “Крестный ход”. И по какой же причине? – Да по той же! Не успел Юра им сказать: “Нечистые, прочь от пера!”

Дальше наш разговор перешёл к кузнецовскому “Раю”, опубликованному после смерти поэта. Но я ещё при его жизни, когда узнал, что он пишет о Рае, сказал ему, что выразить сущность Рая невозможно. Поскольку она нематериальна, а язык наш неизбежно должен опираться на некую материальную сущность. “Красный сад”? Но это же очень красивая, очень яркая картина, насыщенная цветами и красками, то есть телесная. А Рай бестелесен.

Он не спорил со мной и однажды прочитал мне отрывок из “Рая”:

*Вечная туча летела в Божественном мраке,
По сторонам возникали священные знаки,
То пролетят голоса, то живые цветы,
То “Голубиная книга” раскроет листы
И унесётся во тьму золотого сеченья...
Мы приближались к звезде своего назначения.*

Топнул по туче Господь:

*— Это здесь! — и кругом
Всё засияло... Мы стали в пространстве другом.
Воздух был свеж и прозрачен. Внизу простиралась
Голая местность и где-то в тумане терялась.
Сонмы великих и малых убогих людей
С тучи сходили внутри светящихся лучей.*

*.....
В воздухе туча стояла, а может — плыла...
Плыл с ней и Китеж, сияя во все купола.*

Я восхитился:

— Юра! Ты совершил чудо, ты превратил свет в материю!

Он медленно улыбнулся...

А в конце нашего поминального застолья я спросил Сергея:

— Ты вот написал половину книги “Сергей Есенин” для серии “ЖЗЛ”, и она выдержала с 1995 года — со столетнего юбилея поэта — уже двенадцать изданий. Ты закончил сейчас жизнеописание Николая Клюева для той же серии. Очень жаль, что издательство отказалось издавать в ЖЗЛ твою книгу о Павле Васильеве — вот уж у кого жизнь и судьба были насыщены сплошными событиями такого масштаба, как будто поэт выстраивал свою жизнь специально для этой серии. Ты сейчас готовишься к тому, чтобы начать новую книгу о Вадиме Кожинове. Скажи, а судьбу Поликарпыча можно втиснуть в “ЖЗЛ”?

Сын задумался...

— Едва ли...

— А почему?

— Да потому, что судьбы Есенина, Клюева, Павла Васильева сотканы из множества невероятных событий: взлёты, падения, встречи с сильными мира сего, роковые женщины, предательства друзей и происки врагов, аресты, тюрьмы, ссылки... Все трое умерли не своей смертью, а смерть Есенина вообще останется вечной тайной, будет вечно волновать читателей грядущих времён... Даже Пастернак, написавший “С кем протекли его боренья? — с самим собой, с самим собой”, в конце пути поставил жирную, но ставшую необходимой для мировой славы “нобелевскую точку”. А что можно рассказать о Юрии Поликарповиче, если все главные события его жизни, все его поступки происходили не в реальном времени, а в мифологическом, то есть “внутри него самого” и воплощались лишь на страницах его книг, в его поэзии? Это особый случай! Он положил на алтарь Поэзии всё. Как он сам писал, поэзия для него была и “отцом, и матерью”.

Выпиваем и подходим к запретной черте.

— А ведь Поликарпыч и правда пытался “взять на себя” грехи мира и к Голгофе готовился...

— Ну, ты говори да не заговаривайся. Чтó он — Спаситель, что ли? Это уж чересчур!..

— А помнишь, у Булгакова, которого, кстати, на мой взгляд, Поликарпыч незаслуженно отправил в ад, есть сцена, когда на вопрос Воланда: “А что же вы не берёте его к себе, в свет?” — Левий Матвей отвечает: “Он не заслужил света, он заслужил покой”... Я думаю, что Поликарпыч заслужил свет...

После этого мы посмотрели друг на друга, молча выпили ещё по одной и я спросил сына:

— А ты помнишь, какие последние слова перед смертью произнесли два наших друга — Вадим Валерьянович и Юрий Поликарпович?

— Да, помню, — ответил Сергей. — Вадим Валерьянович, сказал, как и подобает человеку ума: “Все аргументы исчерпаны”. А Поликарпыч произнёс лишь одно слово, о смысле которого можно лишь догадываться: “Домой!”

II. “Приснился родине герой...”

Я познакомился с ним в начале 70-х годов прошлого века, когда Вадим Валерианович Кожинов, обладавший особой страстью к поиску русских талантов, устроил в Малом зале ЦДЛ первое выступление Юрия Кузнецова на московской публике. Надпись на афише была многозначительной: “Новые явления в современной поэзии”.

Стихи Кузнецова, которые он прочитал сам, и восхитили, и озадачили меня. А потому, выступая, я сказал, что автор, несомненно, талантлив, но в то же время я не чувствую в его стихах лиризма, который составляет суть русской поэтической традиции. А ещё я вспомнил, как Владимир Маяковский, уже обретший всесоюзную славу, однажды, услышав народную песню “Мы на лодочке катались”, посетовал на то, что его стихи никогда не станут песнями, на что после вечера в узком застолье Кузнецов ответил мне, что мнение Маяковского о поэзии ему неинтересно. Но Вадим Кожин был счастлив и объявил всем, что в русскую поэзию пришёл поэт, который надолго определит её развитие. . .

С тех пор прошло сорок с лишним лет, в течение которых я убедился, что хотя Кожин был прав, но тем не менее, Кузнецов не стал полностью “моим поэтом”. Его стихи и восхищали, и возмущали меня, но жить ими я не мог. Почему? Да, наверное, потому, что не находил в них “пищи для сердца”, если говорить пушкинским языком:

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

Меня всегда смущала во многих его стихах, в том числе ставших хрестоматийными, некая мрачная метафизика и некий диктаторский культ воли. Мой вкус коробили казавшиеся мне сверхъестественными высокопарные метафоры вроде “червь сквозь сердце моё проползёт”... На мой тогдашний взгляд, его стихи были плодом могучего воображения, но не прямым продолжением личной судьбы поэта, а всё, что не подтверждается жизнью личности с её событиями, поступками, восторгами и разочарованиями, как я считал тогда, было “всё прочее – литература”. Словно предвидя сомнения такого рода, Кузнецов позднее ответил на них:

*От пронизательного чтенья
Вся обнажается до дна
Литература самомненья,
Где копошится злоба дня,*

*Где топчут бисер свиньи быта,
На ум дерзает интеллект,
И у разбитого корыта,
Как вещь в себе, сидит субъект...*

*Но попадаютя глубины,
В которых сразу тонет взгляд,
Не достигая половины
Той бездны, где слова молчат.*

Это стихотворение я впервые прочитал в статье критикессы, которая, говоря о Кузнецове, писала “Он”, “Его”, “Ему” с большой буквы. Но Пушкин, словно предвидя такого рода споры о поэзии в грядущих временах, старался снизить пафос подобных “воззрений” и оправдать поэтическое простодушие жизни, сделав поэзию продолжением личной судьбы творца:

*Иные мне нужны картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.*

*Мой идеал теперь — хозяйка.
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.*

В те годы я нащупывал свою стилистику и эстетику соотношения поэзии и жизни, судьбы и слова.

*Я на днях случайно прочитал
книжку невеликого поэта:
где-то под Ростовым он упал,
захлебнулся кровью и не встал,
и не видел, как пришла Победа.*

*Но отвага гению сродни,
но подобно смерти откровенье,
и стоит, как церковь на крови,
каждое его стихотворенье.*

*Вот и мне когда-нибудь упасть,
подтвердить своей судьбою строчку,
захлебнуться и поставить точку —
значит, жизнь и вправду удалась.*

В том, что я был хоть в чём-то прав, что и Юрий Поликарпович мечтал о подтверждении своего слова **судьбою**, меня впоследствии убедили его стихи о связисте Путилове из “Сталинградской хроники”, сомкнувшем за мгновение до смерти зубами перебитый осколком телефонный провод:

*Был бы я благодарен судьбе,
Если б вольною волей поэта
Я сумел два разорванных света —
Тот и этот — замкнуть на себе...*

Умный и пронизательный критик Кирилл Анкудинов пишет об этой особенности кузнецовского миропонимания так: **“Сам Кузнецов, как и его герои, большей частью своего бытия пребывал в мире Мифа. <...> он знал, что все его привязки к реальности настолько слабы и незначимы, что реальность не простит ему этого”**.

Я был поэтом реальности. Однако его железная последовательность — “идти мне железным путём”, — одновременно и восхищавшая, и отталкивавшая своими несколько “общими местами” и блистательными (как в прозе Проханова) штампами, отмеченными личным клеймом, в конце концов, перемолола мой скепсис. Ну, что делать, коли Бог дал ему именно такой талант (дар), и он по-своему платит за бремя этого таланта, терпит непонимание, платит сверхнапряжением своих, увы, человеческих сил, платит верой и сомнением, платит погружением в “адские бездны” и возвращением из них... Помню, как он терпеливо, словно подростку, объяснял мне, что значит слово “тло”.

— Ну, что-то вроде дна? — пытаюсь догадаться, спрашивал я его.

— Да нет, гораздо глубже! Когда говорят “сгорел до тла”, то надо понимать, что отсюда слово “тлен” и слово “тля”, а может быть, и “тело”, то есть смертная наша часть. Но это и самое что ни на есть последнее дно, то есть адское... Где всё сгорает! После этого “тла” ничего ни от чего, ни от кого не остаётся! Там даже время сгорает!

Много позже я прочитал в “Сошествии в ад”:

*Мы обращались по лестнице вниз, и сошли
Прямо на тло... Это было подобьем земли.*

Добро и Зло для него были почти материальными сущностями, и мир, в котором они сражаются, условен. Но почему в моей душе после его “Лейтенантов и маркитантов” началось сражение двух этих вечных сил? Как случи-

лось, что он создал свой воображаемый виртуальный миф и затащил в него меня? Это же не мой мир! Я не хочу и не могу в нём жить! Однако Юрий Поликарпович неумолим:

*Для того, кто по-прежнему молод,
Я во сне напоил лошадей.
Мы поскачем во Францию-город,
На руины великих идей.*

Но тому, кто молод, нечего делать во Франции, в гостях у этой маркитантско-торгашеской Марианны, стоящей за мировым прилавком. Не хочу я туда ехать! Путь туда едет Андрей Вознесенский – в гости к Арагону и Эльзе Триоле (Каган), или Аксёнов – на свою дачу в Бретани, или Ерофеев – на очередную европейскую книжную ярмарку... Какие там “руины великих идей” остались? Никаких... Какие “священные камни” можно было увидеть в Европе? Разве что знаменитый собор Парижской Богоматери, в котором над христианскими символами, хранящимися внутри собора, возвышаются вассалы князя Тьмы – хвостатые химеры с высунутыми языками, рогами и перепончатыми крыльями? Разве можно представить себе подобных монстров на стенах и куполах Киево-Печерской или Троице-Сергиевой лавры, олицетворяющих “священные камни России”? Никакого мифологического или исторического духовного превосходства у Запада, унаследовавшего все свои хищные инстинкты и всю свою алчную волю от Римской империи, перед Россией с нашим Православием нет и не было. Так зачем нас туда зовёт Кузнецов? Из любви к мировой культуре?

“Отдайте Гамлета славянам?” Да у нас своих Гамлетов вместе с ледями Макбет полно: и у Лескова во Мценском уезде, и у Тургенева – в Щигровском, если открыть “Записки охотника”, великую книгу XIX века!

Высмеивая “дроздов общих мест”, Поликарпыч сам без лишних раздумий заменял опыт личной жизни опытом выработанной до него мудрости, пословицами и поговорками, которых – переосмысленных или использованных буквально – не счесть в его поэзии. Но если анекдот – это остроумие, взятое напрокат, то пословица – взятая взаймы мудрость, то есть вечно живое общее место.

Есенинский лирический вклад в русскую поэзию безграничен. И Чёрный Человек к нему приходил по-настоящему: осколки разбитого стекла свидетельствуют об этом. А у Кузнецова и чёрные, и светлые герои – всего-навсего плоды его могучего воображения. Но почему же тогда их явление из бездны тьмы или из бездны света так волнует меня? В середине 90-х в Варшаве я был в гостях у польского литератора, еврея Збышека. Заговорив о судьбе стран и народов, – в том числе польского, еврейского и русского, – я прочитал Збышеку (он же Янкель) стихотворение Кузнецова “Последний человек”:

*Он возвращался с собственных поминок
В туман и снег, без шапки и пальто,
И бормотал:*

— Повсюду глум и рынок.

*Я проиграл со смертью поединок.
Да, я ничто, но русское ничто.*

*Глухие услышали человека,
Слепые увидели человека,
Бредущего без шапки и пальто;
Немые закричали:*

— Эй, калека!

А что такое “русское ничто”?

*— Всё продано, — он бормотал с презреньем, —
Не только моя шапка и пальто.
Я ухожу. С моим исчезновеньем
Мир рухнет в ад и станет привиденьем —
Вот что такое русское ничто!*

*Глухие человека не слышали,
Слепые человека не видали,
Немые человека замолчали,
Зато все остальные закричали:
— Так что ж ты медлишь, русское ничто?!*

Я читал стихотворение, волнуясь, чувствуя, что оно и обо мне написано. Это волнение передалось Збышеку, который, когда я закончил чтение, завизжал то ли от восторга, то ли от ужаса и отчаяния и бросился мне на шею. И я понял, что стихотворение “Последний человек” — это и о нём, одиноком варшавском еврее, не знающем, что ему делать в разорённой антисемитской Польше начала девяностых...

Но если стихотворение так действует на нас обоих, так, значит, в нём есть особый вид реальности, которую я до конца не понимаю? А коли так, значит, призраки, живущие в поэзии Поликарпыча, это — реальность?! Значит, это “было”, коль и Збышек, и я — мы оба поверили в явление поэту его “чёрного человека”, его “русского ничто”? Конечно, он встречается с потусторонними сущностями, с призраками из “четвёртого измерения”, с тенью отца Гамлета, пьёт “осадок золотой” с Гомером и Софоклом. Но поглядите на его портрет с обложки книги “Мир мой неуютный”, в которой собраны воспоминания о нём! С чего бы ему выглядеть таким потрёпанным жизнью, с одутловатыми мешками под глазами, с неизвестно откуда взявшимися пигментными стариковскими пятнами на лбу... Так значит, жить в мире мифов тяжелее, нежели в реальном мире (“можно жить и в придуманном мире” — В. Соколов)... Но зачем тогда на нём отглаженная рубашка и галстук, когда ему в пору бормотать: “Подымите мне веки...”? Между прочим, когда я дразнил его, произнося эту гоголевскую фразу, он фыркал, курил, пуская кольца табачного дыма в мою сторону, но молчал...

Я верю тому, что он по ночам, словно какой-нибудь вурдалак (кстати, Татьяна Глушкова — мастерица давать меткие прозвища — звала его именно “Вурдалаком”) или, как ведьмак на метле, носится на Пегасе... “Сажусь на коня вороного, скачу через тысячу лет...” Я на таких сказочных существах не ездил. В геологических маршрутах на Тянь-Шаньских тропах настоящим моим другом был мерин по кличке Шарабан. Конечно, ему далеко было и до “коня вороного”, и до Пегаса, но на узком каменистом прижиме, когда камни из-под его копыт сыпались по отвесной осыпи в кипящую синюю стремнину Туполанга, и задние ноги уже ползли вниз, а я, перенося центр тяжести на холку, судорожно обхватывал его потную шею с одной мольбой: “Удержись!” — он уцепился передними копытами за каменистую кромку, напрягся всем своим горячим телом и медленным сверхусилием оттащил и себя, и меня от края бездны, потеряв подкову, которая, несколько раз со звоном подскочив от столкновения с обломками базальта, набрала скорость и вошла, как снаряд, в кипящую синюю бездну. Шарабан был достоин стихотворения, и я написал его:

*Поскользнулось копыто коня,
мускулистое конское тело
напряглось, и подкова, звеня,
по обрыву в стремнину слетела.*

*Усмиря невольную дрожь,
я подумал: “Любимец удачи!
Ты, как можешь, как хочешь, живёшь,
хорошо, что не хочешь иначе,*

*что привык лошадям доверять,
что проверил седло и подпругу...
Чтобы душу свою не терять —
будь влюблённым в судьбу и разлуку”.*

*Хоть немного, но выпало дней,
заклеймённых печатью свободы!
Я когда-нибудь вспомню о ней,
вспомню эти бродячие годы.*

*Затоскую о воле своей,
о стремнинах, где пляшут форели,
где подковы моих лошадей
в синих реках давно заржавели...*

Конечно, мне, всю жизнь увязывавшему слово с судьбой, было непросто понять его сверхчеловеческие пути-дороги.

* * *

В русской народной речи с незапамятных времён живёт словосочетание “путь-дорога”. Два поэта разорвали его пополам. Естественно, что Кузнецов выбрал “путь”: “Я вынес пути и печали”, “Путь открыт никуда и к себе”, “Моё лицо не знает звёзд, / конца и цель пути”, “Идти мне железным путём”...

“Путь” – это призвание, это судьба “человека-народа”, это предназначение свыше. А где пути – там и распутья... Путь может уходить и в небо.

А дорога? Она дорога и есть, и вроде бы больше ничего. Она нечто приземлённое до предела, в землю втопанное... Но Николай Рубцов выбрал именно её. Он идёт своими ногами по старой дороге от берега Сухоны, а не какой-то мистической реки времён, как герой “Золотой горы”, до деревни Николы, которая стоит на берегу Толшмы и по сей день. Тридцать километров. Я сам ходил по этой дороге. Над ней плывут облака, навстречу путнику идут “июньские деньки / в нетленной синенькой рубашке”, по сторонам от неё стоят сочные травы, колышется зной над белыми головками ромашек, а чуть дальше – стена влажного тёмного леса... Путник проходит мимо полусгнившего овина и видит: по холмам то ли скачут, то ли блазнятся ему три богатыря... А вот и хуторок показался в стороне – “с позеленевшей крышей, / где дремлет пыль, где обитают мыши, / да нелюдимый филин-властелин”... Редкая, ночная, волшебная птица. Но когда мы видим, что дорога уходит в бесконечную даль, “где пыль да пыль, да знаки верстовые” (вспомним пушкинские “вёрсты полосаты”!), мы понимаем, что на наших глазах земная жизнь перерождается в миф или, скорее, в волшебную сказку, где “каждый славен – мёртвый и живой”, где “русский дух в веках произошёл, / и больше ничего не происходит”, где “заколдованное царство”. Рубцовская травяная земная дорога на наших глазах становится каким-то пушкинским лукоморьем и уходит в вечность со всем своим очарованием, с бредущим по ней поэтом с фанерным чемоданчиком в руке и с верой в вечную жизнь русского духа, который “дышит, где хочет”. Эта дорога – нечто другое, нежели путь, по которому идёт герой “Золотой горы”, потому что на “старой дороге” видны земные следы Николая Рубцова, а на пути, где прошёл поэт мифов и символов, его следов, заполненных примятой травой, тёплой полыньёй или дождевой влагой, не видно.

* * *

В поэме Кузнецова “Золотая гора” есть своеобразный манифест его поэтического самоутверждения:

*Толклись различно у ворот
Певцы своей узды,
И шифровальщики пустот,
И общих мест дрозды.*

А почему бы, подумал я, прочитав поэму, вместо слова “узды” не поставить слово “судьбы”? Но в таком случае я сразу попадаю в толпу незваных на пир со своим стихотворением:

*Пишу не чью-нибудь судьбу —
свою от точки и до точки.
Пускай я буду в каждой строчке
подвластен вашему суду.*

*Ну, что ж, я просто человек,
живу, как все, на белом свете.
Люблю, когда смеются дети,
шумят ветра, кружётся снег.*

Николай Рубцов, когда заходила речь о стихах, лишённых, на его взгляд, чего-то сущностного, сердцевинного, говорил кратко и просто: “Стихи не лирические”... Не то чтобы “неталантливые”, “незначительные”, “непонятные” – нет, “не лирические”. А Юрий Поликарпович чуть ли не демонстративно избегает “личностного звука” во многих создавших ему заслуженную славу стихах. “Человек в моих стихах равен народу”, – писал он в “Воззрении”. Отсюда проистекает его отторжение того, что критики называют “лирическим героем”, а говоря самым простым языком, – “человечности” и всего, что происходит из этого понятия: “сердечности”, “душевности”, “сентиментальности”, “искренности”... Его стихами можно было восхищаться, они могли вызывать удивление или ужас, они могли поражать наше воображение, но их было трудно любить.

“Болящий дух врачует песнопенье” – кажется, это сказал Евгений Боратынский. Но после чтения стихов Кузнецова я никогда не ощущал никакого “врачеванья”, но чаще впадал в состояние душевной смуты, оторопи, отчаяния и всяческих апокалиптических предчувствий.

Я не желал погружаться в “глубины, где слова молчат”. И даже возмущался: ведь в Евангелии от Иоанна сказано: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”... А если так, то Слово “молчать” не может, потому что оно есть сущность Светлой Божественной Бездны!

Кузнецов и женскую сущность определял метафизическим языком, раз и навсегда решив, что весь “женский народ” сшит на одну колодку, и даже упрекал своих молодых учеников за то, что они меняют жён, когда это совершенно бессмысленное занятие: все они дочери одной матери Евы... А потому для него Ахматова и Цветаева состояли из одного и того же теста. Чего их разглядывать и раздумывать над их судьбами? Для него и отец – не просто отец, а куда более значительное понятие, почти необъятное: страшная метафора войны и гибели, “столб клубящейся пыли”, “одинокий и страшный”. Для него и мать – это не есенинское: “Ты жива ещё, моя старушка...” – и не передревское: “Туманный квадратик иконы, / бумажного венчика тлен, / и долго роняет поклоны, / она, не вставая с колен”, – как описана у него мать, потерявшая на войне троих сыновей; и не рубцовское: “Нёс я за гробом матери / аленький свой цветок”... Нет, для него она “седая старуха – великая мати – / одна среди мира в натопленной хате / сидит за столом”... Мать всех матерей. Родная сестра Великой Матери Николая Клюева.

И казак для него – не Григорий Мелехов и не Мишка Кошевой, а кентавр в кубанке, сросшийся с конём и обрисованный с былинной мощью:

*Клубится пыль через долину,
Скачи, скачи, мой верный конь,
Я разгоню тоску-кручину
Летя из пльмя в огонь.*

Юрий Кузнецов, как античный царь Мидас, обладавший способностью превращать в золото всё, к чему прикасался, творит те же чудеса, превращая в мифы и символы простейшие явления жизни. Но ведь чудесный дар богов, дарованный Мидасу, был дан ему не только во благо, но и в наказание.

У истинных поэтов каждое стихотворение – это след соприкосновения души с жизнью. Это всплески, царапины, изливания, это “ознобинки” осязания, зрения, слуха, обоняния со всеми отпечатками характера – личного и национального. Конечно, как не восхищаться волшебным даром превращать всё, к чему прикасаешься, в мифы, но, когда читаешь размышления поэта о мировом Олимпе, “где Пушкин пригубил глоток, / а больше расплескал”, – как тут не задуматься: а что же расплескал Пушкин? Он “расплескал” всего-то “и жизнь, и слёзы, и любовь”. И, конечно, невозможно было ожидать от поэта, сказавшего: “Я в жизни только раз сказал “люблю”, / смирив гордыню тёмную свою”, – восхищения благодатной влагой, которая непонятно почему вдруг изливается из наших глаз.

Юрий Поликарпович неодобрительно и почти брезгливо относился ко все-му личному, по его суждению, приземлённому и недостойному витать в высших олимпийских сферах. Когда я написал свою исповедальную книгу мемуаров “Поэзия. Судьба. Россия”, полистав её, а может быть, кое-что и прочитав, он встретил меня словами:

– Здравствуй, мемуарист! – И произнёс-то их чуть ли не через губу.

“Ты слепая!” – сказал он судьбе” – это сказано от имени Передреева в стихотворении, посвящённом его памяти. Анатолий Передреев свою первую книгу назвал “Судьба”, и судьба его была отнюдь не слепая, а земная, русская, советская, и Передреев не мог о ней сказать “слепая” – это за него сказал Кузнецов.

Сейчас многие мемуаристы охотно вспоминают о том, где, когда и сколько раз они застольничали с Поликарпычем. Но, ей-Богу, нет большого смысла гордиться такого рода легкомысленным общением. Я прожил литературную жизнь рядом с Рубцовым, Передреевым, Соколовым, Кожиновым и больше любил “орлиные круги беседы”, нежели хмельные объяснения в любви и дружбе. Я всегда ценил ощущение телесного здоровья и радости бытия, которыми насыщался в Тянь-Шаньских ущельях, на охотничьих тропах Сибири, на берегах не мифической реки времён Леты, а Угры и Оки, Мегры и Сояны, Нижней Тунгуски и Варзоба, в окруженье русско-советского простонародья – геологов, браконьеров, рыбаков, охотников, колхозников. И каждый из них имел своё лицо и свою душу. Меня окружали не символические образы Федоры-дуры или солдат всех времён и народов, а ербогачёнский охотник Роман Фарков, солдат Великой Отечественной, мегорский рыбак афганец Степан Фефелов, старики и старухи из архангельских деревень с именами и судьбами, схожими с судьбами персонажей повестей Распутина и Белова. Мне было естественнее и надёжнее вглядываться не в мифическую Европу, а в соседнюю шляхетскую Польшу, в лицемерную Америку, в горячее пекло Ближнего Востока, в лица и души дочерей и сыновей всех этих земель и народов.

Проявляя особый интерес к поэтам мифотворческого склада, Юрий Поликарпович в то же время чуть ли не подчёркивал отстранённость от своего уже тогда известного, а ныне легендарного современника:

“В коридорах я иногда видел Николая Рубцова, но не был с ним знаком. Он ходил, как тень. Вот всё, что я о нём знаю. Наша единственная встреча произошла осенью 1969 года. Я готовил на кухне завтрак, и вдруг – Рубцов. Он возник, как тень. Видимо, с утра его мучила жажда. Он подставил под кран пустую бутылку из-под кефира, взглянул на меня и тихо произнёс:

– Почему Вы со мной не здороваетесь? – Я пожал плечами. Уходя, он добавил, притом серьёзным голосом:

– Я гений, но я прост с людьми. – Я опять промолчал, а про себя подумал: “Не много ли: два гения на одной кухне?” Он ушёл, и больше я его никогда не видел”.

“Я ещё в институте скептически относился к Рубцову. То, что он пишет, слышали все. Он только схватил глубже друзей”.

1969 год. В поэтическом мире Рубцов более чем известен, а здесь какой-то странный холод – и в словах, и в достаточно точных наблюдениях. Не оттого ли, что уже тогда Юрий Поликарпович понимал Николая Михайловича с его “лиризмом” всего лишь как “поэта русской резервации”, говоря его словами, написанными через четверть века после этой встречи.

Но ведь и Рубцов, если вчитаться в обстоятельства их якобы “единственной” встречи, тоже сторонился Кузнецова, видимо, чувствуя, что с талантом, имеющим столь рискованные связи с силами тьмы, ему с его светоносным даром, писавшему: “До конца, до смертного креста / пусть душа останется чиста”, – сближаться опасно.

И змеи Рубцова из “Осенних этюдов” – настоящие, опасные, ядовитые, не символические, а природные рептилии.

*Змея! Да, да! Болотная гадюка
За мной всё это время наблюдала
И всё ждала, шипя и извиваясь...
.....
С чего бы змеи начали шипеть?
И понял я, что это не случайно,
Что весь на свете ужас и отравы
Тебя тот час открыто окружают.*

Своих природных северных змей Рубцов разглядел на громадном клювеном болоте, неподалёку от своей деревни Николы, в отличие от собеседника по кухне, который отправил целое змеиное стадо на береговой маяк, чтобы змеи залепили сверкающие огнями стёкла и потерявшие из виду береговой свет суда разбивались о скалы.

.....маяк
*Стал погружаться медленно во мрак.
Пётр выбежал наружу. Сотни змей
Ползли наверх, свивались тяжело
И затмевали тёплое стекло.
Его живём покрыла чешуя!
Пётр закричал от ужаса. Змея
Ужалила лицо.
— Твоё тепло,
О Боже, притянуло это зло!
Они ползут, им места нет нигде
В дырявом человеческом гнезде...*

Символ зла, явленный в потомках библейского змия, тянущихся к человеческому теплу и погружающих мир во тьму, настолько чудовищен, что змеиное болото Рубцова, несмотря на все его страхи, кажется нам родной и естественной частью русской деревенской жизни, не более того.

Сюжет со змеями на маяке был взят Кузнецовым из рассказа Петра Палиевского, вычитавшего об этом в какой-то средневековой европейской хронике. Поэтому поэма была посвящена Палиевскому, и врача на маяке не случайно зовут Пётр. Сюжет книжный, но ужас, который испытываем мы, читая поэму, хотя и сверхъестественный, но настоящий.

* * *

Как бы не ворчал Юрий Поликарпович насчёт легкомысленности “расплевкавшего” свой дар Пушкина, но когда речь заходила о вечной вражде “булата” и “злата”, о “лейтенантах” и “маркитантах” человечества, он всегда был рядом с “лейтенантами” мировой истории, с её пушкинскими творцами и героями: с Иваном Васильевичем Грозным, с Петром Великим, с героями Бородине и сербского эпоса, со Степаном Разиным (“единственным поэтическим лицом русской истории”), с Емельяном Пугачёвым, а не с ростовщиками вроде Скупого рыцаря, не с венецианским купцом и не с еврейским аптекарем, изготавливающим яды. Любимые герои позднего Кузнецова из “Сталинградской хроники” — связист Путилов, замкнувший зубами оборванную связь, и Алексей Ващенко, закрывший своим телом амбразуру, — исторические фигуры, но одновременно и мифологические богатыри, младшие братья “Стального Егория” из одноимённой поэмы. Истинные поэты всегда тянутся к героическим натурам. Даже Иосиф Бродский, выбиравший в минуту духовной слабости между “ворюгами” и “кровопийцами” “ворюгу”, в минуты просветлений восхищался всё-таки не существами из мира “маркитанства” и “маркетинга”, не талантами “Ротшильда или Сороса”, но “пламенным Жуковым”, пролившим кровь не хуже Суворова, сказавшего перед смертью: **“Сколько сражений выиграл, сколько крови пролил, сколько людей посылал на смерть, — прости меня, Господи!”**...

Приснился родине герой, она его ждала...

С конца шестидесятых и до начала 3-го тысячелетия Поликарпыч населял страницы своих книг образами русских богатырей:

*Качнёт потомок буйной головою,
Подымет очи — дерево растёт!
Чтоб не мешало, выдернет с горою,
За море кинет — и опять уснёт.
1969*

*Мать-Вселенную поверну вверх дном,
А потом засну богатырским сном...*
1976

*Через тёмную трещину мира
Святорусский летит богатырь.*
1996

Не в руку сон богатырю...
2001

Но, в конце концов, его надежда на русское богатырство износилась:

*Не поминай про Стеньку Разина
И про Емельку Пугача.
На то дороженька заказана
И не поставлена свеча.*

*Была погодушка недоброю,
Ты наломал немало дров.
И намахался ты оглоблею
Посередин родных дворов.*

*Куда ты дел мотор, орясина?
Аль снёс за четверть первача?
И всё поёшь про Стеньку Разина
И про Емельку Пугача...*

*Трудись, душа ты окаянная!
Чтобы когда-нибудь потом
Свеча горела поминальная
Во граде Китеже святом...*

Вот так после глубокого разочарования он переосмыслил один из главных мифов Руси-России. Да и свою собственную судьбу, поскольку это написано и о самом себе...

III. “И видение было ему...”

В 1967 году Юрий Поликарпович написал стихотворение “Отсутствие”, в котором, обращался к женщине:

*Ты придёшь — не застанешь меня,
И заплачешь, заплачешь.
В подстаканнике чай,
Как звезда, догорая, чадит.
Стул в моём пиджаке
Тебя сзади обнимет за плечи,
А когда ты устанешь,
Он рядом всю ночь просидит.*

Много позже он сделал комментарий к этому стихотворению:

“В 1967 году у меня, наконец, прорезалось мифическое сознание в “чистом виде”. Я написал свой первый миф: стул в пиджаке сдвинулся с места сам и стал ходить и даже говорить по телефону <...> Так я открыл свою поэтическую вселенную”.

Однако это была всего лишь модернистская метафора, подобная тем, которыми увлекался молодой Корней Чуковский в “Мойдодыре”: “У тебя такие руки, что сбежали даже брюки”. А “поэтическая вселенная” и “мифологическое сознание” открылись поэту гораздо раньше — скорее всего, он с ними родился.

“Свой первый символ я увидел воочию и ему обязан первым воспоминанием. Мне было с небольшим два года. Помню, как долго открывал тяжёлую калитку с высоким крыльцом, ту самую, перед которой не-

давно стоял отец. Выйдя на улицу, увидел сырой мгlistый, с серебряной поволокой воздух, не улицы, не заборы, не людей, а только этот воздушный сгусток, лишённый очертаний. Конечно, такое воспоминание не случайно. Это было то самое туманное дремлющее семя, из которого выросло ощущение единого пространства души и природы. Возможно, оттуда идёт загадка “космической туманности” многих моих строк о мире и человеческой душе”.

С тех пор стихия “пыли”, “праха” или “тумана” станет одним из самых навязчивых, заветных мифологических видений Юрия Кузнецова. Началось это с видения в знаменитом стихотворении о гибели отца: “превратился в клубящийся дым”, “столб крутящейся пыли бредёт”, “словно машет из пыли рука”. А потом “образ пыли” стал властно присутствовать во всех основных мировоззренческих стихах Юрия Кузнецова: “крестный путь, не пыли”, “слава или пыль метёт вдаль”, “то пыль с Куликова”, “пропылим по забытым могилам”, “я – знамя! Вожди подо мною / во славе, крови и пыли”...

Постепенно образ пыли в поэзии Кузнецова окончательно превращается в символ распада, в символ космической смерти, сухого остатка, возникающего на месте некогда цветущей жизни. Но вспомним опять “старую дорогу” Рубцова, на которой под ногами путника шевелится совсем другая пыль – тёплая, почти живая. В “пыли веков” бредут пилигримы, “всё пыль да пыль, да знаки верстовые”, “где дремлет пыль”, словно ждущая пробуждения...

В стихотворении “Пыль на дороге” Кузнецов почти без всяких иллюзий утверждает последнюю истину:

*Человек — это прах и попытка,
Человек — это облако пыли...
Чёрт чихнул — и развеялся прах...*

Но, правда, тут же хватается, как за последнюю слабую надежду:

*Но не весь. Кое-что задержалось:
Рваный оттиск воздушной фигуры,
Может быть, это Ангел-Хранитель,
Что вам снится в туманных чертах.*

А сказанное словно бы в отчаянье: “Человек – это прах и попытка”, – восходит у Поликарпыча к ветхозаветному образу из Давидовых Псалмов, о чём сказано в его предсмертном стихотворении “Поэт и Монах”:

*Уж пел Давид под диким кедром,
Что человек есть только прах,
С лица земли взметённый ветром...*

И в этом же стихотворении лжемонах “при грозном имени Христа” превратился “в свистящую воронку праха”, скопированную со “столба крутящейся пыли” из раннего стихотворения об отце...

Когда же, словно грозный судия, поэт хочет отправить в небытие солдат коричневой Европы, шагающих на Восток, он погружает их в пыль:

*Мерцают язычки штыков
В пыли, в пыли, в пыли,
Ряды шагающих солдат,
Шагающих в упор,
Которым не прийти назад...
И кончен разговор.*

Для того чтобы высказать все свои образы, Юрий Поликарпович переносил, как правило, действия и сюжеты своих стихотворений в сон, в “сно-видения”. Во сне душа наша, как сказано Гоголем в “Страшной мести”, отделяется от тела и путешествует в мировом пространстве, где ей заблагорассудится, и встречается с кем попало. И в этом состоянии душе всё позволено. Спящий не отвечает за то, что происходит с его душой, над которой могут властвовать любые – светлые или тёмные – силы.

Несть числа сновидениям, в которых поэт прозревал смысл прошлого, суть настоящего, очертания будущего. Во сне легче бороться с призраками из “четвёртого измерения”, во сне, именно во сне можно выиграть схватку с европейской фашистской армией, что изображено в главе “Битва спящих” из поэмы “Дом”, во сне можно напоить лошадей и поскакать на родину “свободы, равенства и братства”. Именно во сне происходит встреча Есенина с Чёрным Человеком. Именно во сне подруга Лермонтова видит его труп, лежащий в долине Дагестана, а поэт в то же время видит её в своём собственном сне. Сон во сне снится и Кузнецову: “Приснился родине герой, душа его спала”. Разновидностей подобных вещих снов в поэзии Кузнецова множество. Их столько, что можно “вещий сон” считать любимым литературным приёмом автора. Или, скорее, его творческим состоянием:

*Мне снились ноздри! Тысячи ноздрей
Стояли низко над душой моей...*

*На тёмном склоне медлю, засыпая,
Открыт всему, не помня ничего.*

*Это было на прошлой войне,
Это Богу приснилось во сне...*

*Что-то странное снится копьёю:
Равновесие света и мрака...*

*Я устал воевать на две стороны —
Наяву и во сне воевать...*

*Ты спишь всю жизнь,
Ну, так усни навек...*

*Земля от мук изнемогла
И позабылась сном.*

Я сплю на Слове...

*Но Русь ответила — не трусь!
Ищи меня, и я найдусь.
А не найдусь, так я приснюсь...*

*Иному человечеству приснится,
Как вдали бредёт мой распостёртый труп
(“Знакомый труп лежал в долине той...”)*

И снился мне кондовый сон России...

Все вещие сны поэта перечислить почти невозможно. И тем более невозможно их разгадать. Вся его борьба, все его победы и поражения происходят во сне. Но даже если в его стихотворных видениях нет слова “сон”, это не значит, что они свободны от “наваждений”.

Это не просто стихи. А может быть, и вообще не стихи в обычном смысле слова. Это скорее “откровения”, как называется Апокалипсис, открывшийся отшельнику на острове Патмос. Их можно назвать “прозрениями”, “озарениями”, “затмениями”, “ясновидениями”, “наваждениями”, “предвидениями” и даже “галлюцинациями”... Древние греки не записывали бормотания своих кассандр и пифий, своих дельфийских оракулов — они лишь пытались разгадать их. Кузнецов чувствовал связь своего дара с этими не то что дохристианскими, а почти доисторическими стихиями:

*От того ты всю жизнь изнывал,
От томления духа ты плакал,
Что себя самого познавал,
Как задумал дельфийский оракул.*

Многие его “наваждения”, облачённые в мифологические одежды и зарифмованные, а потому и считающиеся стихами, видимо, не сочинялись, не обдумывались, не записывались в виде черновиков, но рождались, скорее всего, мгновенно, в результате метафизического усилия и своеобразного “кесарева сечения”, как родился в его стихотворении Сергей Радонежский. “Змеи на маяке”, “Ноздри”, “Семейная вечеря”, “Посох”, “Холм”, “Пустынник”, “Тайна славян”, “Муха”, “Последний человек”, “Наваждение” и много чего другого рождалось у него именно таким необычным для стихосложения способом.

Этому особому жанру поэзии нужны не литературные критики, а истолкователи, ведуны, жрецы, авгуры, подобные древним волхвам, подобные творцу Апокалипсиса или схимнику, предсказавшему в своё время русскому императору его судьбу, или человеку, начертавшему на подвальных стенах Ипатьевского дома загадочную надпись на древнееврейском языке. В этой системе координат спор о месте Кузнецова в современной поэзии становится бессмысленным.

*Мне снились ноздри! Тысячи ноздрей
Стояли низко над душой моей.
Они затмили солнце и луну.
Что занесло их в нашу сторону?*

*Иль от лица бежали своего?
— Мы чужем кровь! Мы чужем кровь его! —
Раздался вопль чужого бытия...
И пролилась на волю кровь моя.*

Добросовестный и начитанный критик скажет, что это стихотворение написано автором под впечатлением от чтения книги В. В. Розанова “Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови”. Другой читатель, менее дотошный в исследовании “национального вопроса”, восхитится силой мысли, упакованной в яркий запоминающийся образ. Но эти восемь строчек не могут “примыслиться”, не могут “сочиниться” — они могут только “привидеться” в целокупной, явленной, цельно рождённой картине, появиться сразу во плоти во время то ли “вдохновения”, то ли “беснования”, то ли “припадка одержимости”, когда, как говорят, “накатило”... А что “накатило” — “ясновиденье” или “темновидение”? — это не важно. Хотя надо помнить, что Христос, живя в эпоху больших и малых, истинных и ложных пророков, относился к “одержимым” всё-таки как к больным, иногда исцеляя их.

У Пушкина бывали такого рода состояния, но он опасался их. Пушкинский “Пророк” именно во сне, близком к смерти (“И он мне грудь рассёк мечом, / и сердце трепетное вынул...”) или в процессе сложнейшей операции под глубоким наркозом, проведённой “шестикрылым Серафимом”, обретает чудесные свойства провидца всех тайн Вселенной. Может быть, в таком состоянии Иоанн Предтеча и Апостол Павел прозревали явление им Христа. У русских сектантов подобное состояние называлось “быть в духе”. “Я был в духе в день воскресный” — так начинается одно из стихотворений загадочного поэта Николая Клюева. А ведь это почти прямая цитата из “Апокалипсиса”. Дар апокалиптического сно-видения, от-кров-ения — редчайшая милость (или наказание) богов. С ним трудно жить, его невозможно оспорить.

С некоторым высокомерием Юрий Кузнецов вспоминает пушкинскую строчку: “Над вымыслом слезами обольюсь”, — и замечает, что “глубинной природы своих вымыслов Пушкин не понимал”. Ну, и что из того? Поэт не обязан умом понимать всё, что напишется в состоянии “вымысла” или “наваждения”. Кузнецов и свои-то “наваждения” не понимал, в чём не раз признавался сам:

*Через дом прошла разрыв-дорога,
Купол неба треснул до земли,
На распутье я не вижу Бога.
Славу или пыль метёт вдали?*

Ключья Апокалипсиса, через который так же “прошла разрыв-дорога”, торчат из многих кузнецовских откровений:

*Матерь Божья над Русью витает,
На клубок наши слёзы мотает...*

*.....
А клубок всё растёт и растёт.
А когда небо в свиток свернётся,
Превратится он в новое солнце,
И оно никогда не зайдёт.*

Семь небес никого не спасут...

Я построил вам новое небо...

Ибо всё на свете станет новым...

*С голубых небес в пору грозную
Книга выпала голубиная...*

Заговорили голоса из бездны...

*Птица по небу летает,
Поперёк хвоста мертвец,
Что увидит, то сметает.
Звать её — всему конец.*

*Треснул с грохотом мир — и в избе
Я увидел зиянье провала...*

*Грянет в трубу Архангел,
Кончится сила строк...*

*Я хотел бы услышать твой голос
Перед гибелью света сего...*

Примеры такого рода можно черпать из книг Кузнецова пригоршнями.

В пустом дупле некогда могучего дуба поселилась нечистая сила; неведомо откуда возникший из земной поверхности плавник подрезает корни деревьев; в стае серебристых змей, ползущих через железнодорожную насыпь, увязли чугунные колёса эшелона... Вот какие видения ни с того, ни с сего возникают в стихах Юрия Поликарповича. Пусть проклянут меня его верные поклонники, но мне кажется, что он подбирал весь апокалиптический мусор, попавшийся ему на глаза, и лепил из него свои творенья.

Вадим Кожин, близкий Кузнецову человек, но материалист до мозга костей, мог восхищаться откровениями своего друга, но растолковать их был бессилён. Недаром же сам Юрий Поликарпович сравнивал себя с древнерусским столпником:

*Всё стоит в знак вечного покоя...
Столпник перед Господом стоит.
Древо жизни умирает стоя,
Но стоит и мне стоять велит.*

Стояние перед Богом и молчание — вот единственный ответ человека перед последними временами.

Именно так же, как древнерусский столпник, стоит в его стихотворении и русская Федора-дура. Стоит “на истине, на кочке, на болоте”, “на рельсах, на трибуне, на вулкане”,

*Меж двух огней Верховного Совета,
На крыше мира, где туман сквозит,
В лучах прожекторов, нигде и где-то
Федора-дура встала и стоит.*

Стихи написаны осенью 1993 года. И стояние, и молчание Федоры — это ли не ответ России на Апокалипсис?

*Есть немота, по ней легко узнать
В любой толпе инога человека:
Он хочет что-то важное сказать,
Его душа немотствует от века...*

.....
*Замри, мой стих!.. Безмолвствует народ
В глухой долине смуты и страданья.
И где-то там, из мировых пустот
Очами духа светит щит молчанья.*

Не хочу обращать внимания на то, что “Замри, мой стих!” – это всё равно, что “Умри, мой стих!” Маяковского, но ко многому в стихах Ю. К. последнего десятилетия можно поставить одно модное на нынешних телеэкранах слово: *No comment* – “Без комментариев”. Словом, “народ безмолвствует” (А. П.)

А чего комментировать, когда на вопросы, которые поэт задаёт Мирозданию, не слышится ни одного ответа? Да и зачем нам этот комментарий, если русский человек, собрат и кровный соплеменник Федоры, нашёл единственно верный ответ на рёв мирового зверя – число 666:

*А когда привечный гром ударил,
Вскинул ты, не открывая глаз,
Голову, стакан рукой нашарил
И махнул во сне, благословясь.*

*Может, Бог тебя во сне приветил,
Или чёрт поставил свой рожон?
Страшный Суд проспал и не заметил...
Вот что значит богатырский сон!*

В то, что “откровения” Кузнецова “не всегда стихи” или вообще не стихи, а моментальные вспышки, Бог знает, откуда возникающие в его сознании, поверить придётся:

*Небо покинуло душу мою,
Я под ногами повешенных сплю.
Тягой они затекли,
Но не достигли земли.*

*Бездна раскрыта... при звёздном огне
Ноги повешенных ходят по мне.
— Спи, — говорят, — это сон.
Если окончится он.*

“Наваждение” происходит от слова “водить”: “**В поле бес нас водит, видно**”, – но, как спасительная от этой “вспышки тьмы” молитва, вспоминаются слова Пушкина из письма к Вяземскому: “**Да говори просто. Ты довольно умён для этого**”... Однако и этот совет не спасает, потому что Пушкин имел в виду именно стихи, а здесь – “наваждение”...

Пропускать через свою душу такое количество то светлой, то тёмной энергии небезопасно.

*Туча в сумерки. Буря огня.
Тьму свою отдаю ради света.
Я летаю во сне, и меня
Люди сна ненавидят за это.*

*Сразу крючья озлобленных рук
Начинают цепляться и плакать.
Это ад. Это родина мук.
Корча памяти, пекло и слякоть.*

*Вон плывёт человеческий зрак
И кровавыми льётся слезами.*

*Только снижусь — и свора собак
Мои ноги хватает клыками.*

*Я с трудом отбиваюсь от них.
Башни, стены, какие-то ниши.
Из одной выплывает двойник.
Я лечу сквозь него. Выше, выше!*

*Вижу свет, он как будто зовёт,
Но туман продолжает сгущаться.
Обрывается плавный полёт.
Тьма и трепет. Пора возвращаться!*

*...Подле вялого тела жена
На постели сидела вдовою.
— Что с тобою? — кричала она
И трясла то, что было не мною.*

Вот что такое “наитие”, “видение”, “откровение”, “прелесть” “заклина-ние”, словом, всё, что мерещилось древним грекам от бормотания оракулов, древним арабам — от изречений Магомета, изрыгнутых им во время падучей, древним кельтам — от вещания друидов, древним русским — от загадочных воплей юродивых.

*Есть камень в широком поле,
На камне старик стоит.
Колени его ослабли,
И голос его дрожит.*

*Небу возденет руки —
Руки горят огнём.
Долу опустит руки —
Они обрастают мхом.*

*Когда подымет руки —
Мир озаряет свет.
Когда опускает руки —
Мира и света нет.*

Сколько ни спрашивайте автора: что он хотел сказать этим “вымыслом”? — он не ответит, поскольку это не стихотворение, а “видение”, смысл которого не ясен самому духовидцу, так же как ему неясен смысл поэмы “Змеи на маяке”, заканчивающейся словами:

*Вот что я знаю. Более того
Я не прибавлю миру ничего.*

Задумаешься над такими стихами и вспомнишь, что писал Пушкин: **“У меня кружится голова после чтения Шекспира, я как будто смотрю в бездну...”** Слабая, то есть нормальная голова была у Александра Сергеевича по сравнению с головой Юрия Поликарповича... “Наваждение — то, что, по суеверным представлениям, внушено злой силой с целью соблазна; облом чувств, призрак” (В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М. “Русский язык”, 1979. Т. 2. С. 329).

У нас нет критериев оценки гениальности, безумия или “призрачности” наваждений, особенно если они заключены в “телесную” стихотворную форму. Пушкин знал опасность такого рода соблазнов для простых верующих душ и брал “разборки с призраками” на себя, а не взваливал эту непосильную работу на малых сил, отсеивая зерна от плевел, “обеззараживая” их.

Когда я размышлял о подобного рода искушениях, исходивших от книг Кузнецова, жена спросила меня, о чём я задумался, и после моего невнятного ответа сказала:

— Надо пойти в церковь и поставить свечку за упокой души Юрия Поликарповича.

Но тут невесть откуда на кухню, где я работаю, прилетела муха, их не было видно с октября, а сейчас январь — и крещенские морозы!

— Галя! Муха!

Жена схватила тряпку, чтобы прибить наглое насекомое, но я удержал её.

— Муха — любимая собеседница Поликарпыча. У него есть три стихотворения: “Зелёная муха”, “Муха в янтаре” и просто “Муха”. Она для него — символ вечности, всё равно, что банька с пауками для Ивана Карамазова. Он ловил мух, беседовал с ними и отпускал их...

И я прочитал жене кузнецовское:

*— Отпусти, — зазвенела она, —
Я летала во все времена,
Я всегда что-нибудь задевала.
Я у дремлющей Парки в руках
Нить твою задевала впотьмах,
И она смертный стон издавала.*

*.....
Я сражалась с оконным стеклом,
Ты сражался с невидимым злом,
Что стоит между миром и Богом...
— Улетай, — говорю, — коли так. —
И разжал молодецкий кулак... —
Ты поведала слишком о многом.*

Жена посмотрела на меня с сожалением, как на больного, перекрестилась, взяла разделочную доску, стала резать морковь, но острый нож соскользнул, и она порезала палец до крови, а над каплей крови тут же появилась роковая кузнецовская муха... Вот тут и я перекрестился. А жена молча оделась и пошла в церковь.

IV “Я смотрю в упор...”

Перечитываю стихи Юрия Кузнецова, задумываюсь над ними. Вроде бы давно их знаю и многие — наизусть. Но с каждым новым прочтением чуть-чуть глубже и точнее понимаю их и через них — его судьбу. Вот и сейчас подумал, что объём знаний о мире был ему дан сразу, а потому он жил и писал, отстраняя от себя многое, что связано с возрастом, личной жизнью, реальными событиями, лирическим воздухом. Его стихи, написанные им в 20 лет, можно, переставив даты, отнести к концу его жизни. На них нет печати времени.

Я всегда без лишних слов ценил Поликарпыча и как человека, и как поэта. Где только мог, защищал его от всех нападков и с правой, и с левой, и с русской, и с еврейской стороны. Однажды на литературном вечере в разгар перестроечной идейной вражды я прочитал со сцены переполненного зала Центрального дома литераторов его стихотворение “Маркитанты”. Прочитал наизусть. И в ответ на крик из полутёмного зала:

— Господин Куняев! И вам не стыдно читать такие стихи! — ответил кричавшему, что я горжусь Кузнецовым, что это его стихотворение навсегда останется в истории русской поэзии, и добавил:

— А вас, господин маркитант, я прошу выйти из зала! — И “маркитант”, хлопнув дверью, вышел.

Помню, как Юрий Кузнецов читал это стихотворение в конце 90-х годов со сцены омского оперного театра. Он подошёл к микрофону, прочитал две-три строфы, дошёл до строчек:

*Маркитанты обеих сторон —
Люди близкого круга,
Почитай, с легендарных времён
Понимают друг друга...*

И вдруг замолчал. То ли это было следствием вчерашнего застолья, то ли по какой-то другой причине, но пауза затянулась, и зал заволновался, из него полетели к поэту раздражённые и даже оскорбительные реплики. Тогда Поликарпыч собрался с силами и выдохнул в зал:

– А чего читать? И так всё ясно.

Махнул рукой, повернулся и тяжёлой поступью ушёл за кулисы.

В те 90-е годы где только мы не побывали с ним: в Иркутске, в Красноярске, в Калуге, в Ленинграде, в Сталинграде, в Краснодаре, в Новосибирске, в Белгороде. Всего не упомнишь. Было время в гостиницах, в поездах и самолётах, на вокзалах и в аэропортах наговориться вдоволь.

Несмотря на свою гордыню, он бывал суров к самому себе. Как-то, будучи в Калуге, мы поехали в Тихонову пустынь к святому источнику, к недавно построенной там купели. Была ранняя осень, и первый снежок уже запарошил лесную дорогу и свежую дощатую дорожку, проложенную к купели. Один из членов нашей делегации вышел из машины, разделся и чуть ли не пополз по доскам к святому источнику. Но Кузнецов сидел в машине, словно и не желая вылезать из неё. Я открыл дверцу:

– Юра, приехали! – Поликарпыч потрянул тяжёлой головой и, глядя на ползущего к купели по деревянному настилу полураздетого критика, твёрдо ответил:

– Не могу, не достоин!

Я поглядел на него и вспомнил лермонтовскую строку из “Маскарада”: “И этот гордый ум сегодня изнемог”.

Можно ли было назвать нас друзьями? В том смысле, в каком мы были друзьями с Анатолием Передревым и Вадимом Кожинным, – едва ли. Но Поликарпыч сам с печалью признавался, что он “в поколение друга не нашёл”, а если говорить точнее – и не искал. Но он не раз давал понять, что питает ко мне чувства, которые можно назвать дружескими. Правда, некоторые нынешние мемуаристы, которых в те времена рядом с Поликарпычем “и не стояло”, сейчас тратят немало сил и фантазии, чтобы доказать, будто Поликарпыч иногда отзывался о моих стихах и обо мне как о человеке весьма язвительно. Но можно ли им верить? В ответ сочинителям сплетен и слухов я лучше вспомню о том, как в 1982 году на моём юбилейном вечере в том же ЦДЛ Юрий Поликарпович прочитал наизусть моё довольно длинное стихотворение “Золотые квадраты”. Не было на моей памяти такого, чтобы он в переполненном зале читал какие-нибудь стихи своих современников.

*Что же делать, коль невоготу
оставаться в больничной постели,
потому что берёзы в саду
так отчаянно ночью шумели,
говорили, что жизнь хороша,
что её чудеса несказанны.
Но больница жила не спеша,
по законам тюрьмы и казармы.
Умывалась, питалась, спала,
экономя ослабшие силы,
и в бреду бормотала слова,
что так дороги нам до могилы.
В темноте вдруг припомнилось мне,
как в далёкое время когда-то
от проезжих машин по стене
плыли в ночь золотые квадраты.
Заплывали, как рыбы, в окно,
уплывали в пространства ночные...
Что-то я вас не видел давно,
где вы скрылись, мои золотые?
Гул машин и берёзовый шум
то сплетались, то вновь расплетались,
западали в рассеянный ум
и о землю дождём разбивались.
Я прислушался к дальней грозе,
ощутил освежительный холод.
За углом рокотало шоссе,
чтобы утром насытился город.
Самосвалы построились в ряд,
надрываясь, режут на подъёме,*

*а берёзы — берёзы шумят
в невесёлом оконном проёме.
Так шумят, погрузившись во мрак,
с горькой нежностью и трепетаньем,
словно скрасить хотят кое-как
наше равенство перед страданьем.*

Трудно себе представить, чтобы Поликарпыч, готовясь к литературному вечеру, заучивал чьё бы то ни было стихотворенье наизусть. Значит, оно запомнилось ему ранее, как и мне постепенно запоминались сами собой стихи Рубцова, Передреева, да и самого Кузнецова. Но что могло его привлечь в этом совершенно чуждом ему сентиментальном сочинении, написанном мной в молодые годы на больничной койке в полубреду? В сочинении, полном даже не чувств, а каких-то зыбких ощущений? Чего он, исповедующий мифологическую волевою стихию духа нашёл в этом “бормотанье”? Неужели ему не хватало каких-то “витаминов душевности”? Жаль, что я никогда не спросил его об этом, а теперь уже и не спросишь.

Впрочем, к моему удивлению он иногда находил в моих книгах нечто такое, что было и близко и понятно ему.

В 1992 году ещё не работавший в “Нашем современнике” Кузнецов написал стихотворение к моему 60-летию с посвящением:

Станиславу Куняеву

*Жизнь прошла, а значит, будь спокоен.
В общей битве с многоликим злом
Ты владел не рукопашным боем —
Ты сражался духом и стихом.*

*В этот день, когда трясёт державу
Божий гнев, и слышен плач и вой,
Назовут друзья тебя по праву
Ветераном третьей мировой.*

*Бесам пораженья не внимая,
Мы по чарке выпьем горевой,
Потому что третья мировая
Началась до первой мировой.*

Вскоре после его смерти какие-то недоброжелатели распустили слух о том, что это стихотворение поэт написал о самом себе и что я говорю неправду. Пришлось мне разыскать подшивку газеты “Завтра”, найти в ней ноябрьский номер за 1992 год и даже растолковать незадачливым сплетникам смысл кузнецовского стихотворения:

“Юрий Кузнецов жил в высших духовных сферах. И старался понять не политический, а мистический смысл войны, условно говоря, между добром и злом, этой вечной третьей мировой, вышедшей на финишную прямую в XX веке. По поводу моих небольших восстаний — дискуссия “Классика и мы”, письмо в ЦК по поводу “Метрополя” и т. д. — он говорил мне: “Станислав, какие-то цели у тебя слишком приземлённые. Ты воюешь с конкретными лицами — критиками, политиками, историками, диссидентами, а я борюсь со всей мощью тёмных сил, я не хочу различать их лица, помнить фамилии... Ты всего лишь лейтенант, ты идёшь в атаку, пуля тебе попадёт в лоб, споткнёшься, упадёшь и не поймёшь даже, что уже убит”.

То, что он называл меня “ветераном” и “лейтенантом третьей мировой”, мне льстит. Но у Кузнецова есть стихи “В тишине Генерального штаба”. Он оттуда смотрел на всё, как идеолог Гишштаба, воюющего с силами мирового зла. У меня же более “приземлённое” мышление, в отличие от Поликарпыча. Я ему говорил: “Юра, каждому — своё. Вот у меня есть свои окопы, своя линия фронта, свои враги на той стороне. С меня этого — вот так хватит!”

Я всегда чувствовал сумрачную мощь его поэтического дара и, не говоря никаких высоких слов, понимал, что ему надо помогать во всех житейских делах. Однажды, когда в 1977–1980 годах я работал в Московской писательской организации, мы узнали, что московские власти передают писателям несколько квартир в доме на Олимпийском проспекте. Я, зная, что Кузнецов с семьёй живёт в тесной и неудобной для него квартире без рабочего кабинета, без необходимой для такого поэта, как он, библиотеки, пришёл к нашему секретарю по оргвопросам Виктору Николаевичу Ильину, в прошлом чекисту и узнику Лубянки, с ультиматумом: в первую очередь надо выделить хорошую квартиру Юрию Кузнецову. Ильин после некоторых колебаний согласился. Я сам поехал на Олимпийский проспект, поглядел все писательские ещё незаселённые квартиры и выбрал для семьи Поликарпыча лучшую из них.

Он так же не раз отвечал мне знаками дружеского внимания. Однажды, приехав из Америки, привёз оттуда любительский фильм, в котором в исполнении какого-то русского патриота из первой волны эмиграции звучало моё стихотворение “Размышления на Старом Арбате”. Поликарпыч с удовольствием показал мне этот фильм на телеэкране со словами восхищения о стихах: “Какая высокая публицистика!”

После его смерти мне удалось отстоять право его семьи – вдовы и дочерей – на дачу во Внуково, где в последние годы он жил и работал. Его жена Батима, часто приходившая после похорон в “Наш современник” помянуть мужа, поговорить с нами, отогреть душу, однажды поведала мне о том, что ей приснился Юрий Поликарпыч и сказал обо мне: “Иди к нему, он всё поймёт...”

Чего после этого стоят измышления “Литературной России” о том, что Батима после его смерти **“продолжала воевать за Ваганьковское кладбище... Ей звонил Анатолий Лукьянов – убеждал согласиться на Троекуровское. А Куняев и Ляпин, по её словам, не только не помогают, но даже втихомолку вредят.**

– **А ты чего ожидала** (говорит ей автор этой сплетни. – Ст. К.) **У них только теперь и появилась возможность с ним поквитаться”** (“Литературная Россия”. № 24, 2012).

Прочитав это, Батима, не застав меня, позвонила моему сыну Сергею и сказала:

– Передай отцу, что Чусовитин пропил мозги и всё лжёт!

... Когда в 1997 году Кузнецов в разговоре со мной посетовал, что покидает издательство “Современный писатель”, где и зарплату не платят, и книги почти не издают – а на что жить с двумя дочерьми? – я сразу же, без раздумий, сказал ему:

– Завтра приходи ко мне в журнал. – У меня тогда после смерти Геннадия Касмынина не было заведующего отделом поэзии. – На работу будешь являться два дня в неделю.

Мало кто знает, что я не просто приглашал его руководить отделом поэзии, но мыслил о том, что когда я окончательно вымотаюсь на должности главного редактора, то передам журнал именно в его руки. Ведь он был почти на десять лет моложе меня, с его именем и власти, и авторы обязаны будут считаться. Да и его общественное положение было прочнее, чем моё. Он не дразнил власть имущих письмами в ЦК, как это делал я, не выступал на таких рискованных дискуссиях, как “Классика и мы”, не писал статей по русско-еврейскому вопросу. Ему и только ему, истинному поэту и патриоту России, я мечтал передать журнал. Но, к несчастью, судьба решила иначе.

Конечно, я пошёл на большой риск, приглашая на рутинную работу и взяв себе в подчинение поэта с таким талантом и с таким характером. И последствия моего рискованного решения стали обнаруживаться сразу. Вскоре ко мне в кабинет вбежал весьма самовлюблённый и знающий себе цену поэт из Смоленска Виктор Смирнов. Он держал на вытянутых руках, словно нечто необходимое, свежий номер журнала:

– Станислав Юрьевич! – закричал он плачущим голосом, – посмотри, что твой Кузнецов натворил с моими стихами!

Что-то бормоча и тыча пальцами в журнальные строчки, Смирнов, чуть ли не роняя слёзы, пытался объяснить мне, что Поликарпыч так переписал его стихи, так изуродовал, исправляя их, что он, Виктор Смирнов, отказывается признать их своими и требует опровержения!

– Мне путь в поэзию открыл мой великий земляк Александр Трифонович Твардовский, – кричал оскорблённый автор, – не для того, чтобы мой однокурсник Кузнецов, всегда издававшийся над моими стихами в Литинституте, калечил их до неузнаваемости!

Кое-как при помощи традиционной стопки чая и всяческих обещаний в следующий раз не отдавать его стихи на поругание Кузнецову, а напечатать под своим присмотром в нетленном виде, я утешил несчастного, припавшего к моей груди с бормотанием:

– А он ещё и глумится надо мной, говорит: гордись, что я принял участие в твоей литературной судьбе и вписал в твои рифмованные опусы лучшие слова и строки. Гордись и напиши когда-нибудь об этом!

Следующим после Виктора Смирнова в мой кабинет вошёл хмурый Иван Переверзин:

– Станислав Юрьевич! Ты всё-таки уйми нашего гения... Ну, сам поуди, приношу я ему пятьдесят новых стихотворений. Он при мне молча читает, выбирает из толстой стопки всего пять стихов, а остальные, говорит, носи в “Юность” или в “Литгазету”!

Но Переверзина я утешил без особых усилий.

– Ваня! Ты пойми. Он ведь не сказал тебе, что отвергнутые им стихи – плохие. Он просто самые гениальные выбрал для лучшего журнала страны, для отдела поэзии, которым руководит сам Кузнецов, а просто талантливые оставил для “Юности”. А потом, он же видит, как легко и много ты пишешь! И знает, что скоро ты опять принесёшь ему пятьдесят стихотворений! Ты цени его строгость, не все поэты удостоиваются такого внимательного отношения!

Иван Иванович задумался и успокоился. И вскоре стихи, забракованные Кузнецовым, появились в “Литературной газете” и в “Москве”. На мой взгляд, они были не хуже опубликованных в “Нашем современнике”.

Но это всё, как говорится, ещё цветочки. Бесцеремонность Поликарпыча по отношению к стихотворным журнальным публикациям порой переходила всякие пределы. В августовском номере за 2003 год мы, помнится, печатали подборку произведений сызранских литераторов, и одно из стихотворений лучшего сызранского поэта Олега Портнягина Поликарпыч переписал, а вернее – перепаял так, что у меня сердце защемило: из двадцати строчек портнягинского стихотворенья Кузнецов своей редакторской рукой оставил в нетленном виде только восемь, а остальные двенадцать переписал, что называется, до последней буквы. И я ничего не мог сделать, потому что Поликарпыч согласился работать в журнале с одним условием: чтобы главный редактор, то есть я, не вмешивался в жизнь отдела поэзии. А я был рад-радехонек: баба с воза – кобыле легче! Ох, и поднадоели мне за десять лет моего редакторства поэты с их капризами! Мы ударили по рукам, но при этом я выторговал себе “квоту” главного редактора. Когда по каким-либо соображениям – политическим, экономическим, дружеским – мне позарез нужно будет кого-то опубликовать, то я заявляю об этом Кузнецову, что, мол, это моя “квота”, а он стихи, идущие по “квоте”, не читает и вообще знать о них ничего не хочет.

Но с другой стороны, его приход в журнал означал приток на журнальные страницы свежей крови.

Он, преподававший к тому времени в Литинституте уже лет пятнадцать, вырастил целую плеяду молодых поэтов, которые с его приходом ко мне стали постоянными авторами журнала. Это были Диана Кан с Евгением Семичевым из Самары, Евгений Чеканов из Ярославля, Иван Переверзин из Якутии, Игорь Тюленев из Перми, Геннадий Фролов из Москвы, Валерий Фокин из Вятки. Из поэтов, которые обрели свой голос до знакомства с ним, Юра высоко ценил Николая Дмитриева из Старой Рузы и, конечно же, Виктора Лапшина из Галича.

К молодым поэтам – Марине Струковой, Нине Карташовой, Илье Недосеклву которым я открыл двери в “Наш современник” до его прихода, – Поликарпыч относился настороженно и ревниво, наверное, потому, что они были не его, а моими воспитанниками...

Что бы сейчас ни говорили критики, но, по моему мнению, он не обладал абсолютным вкусом. Не буду вспоминать имена нескольких молодых поэтов, на которых он делал ставку, печатая их в журнале, но из которых ничего путного не вышло.

Но самая большая его педагогическая неудача была связана с тем, что он открыл никому не известную сказительницу из Костромы, которая пыталась отразить современную жизнь в жанре “сказа”. Поликарпыч, как “основоположник мифологического мировоззрения” в современной поэзии, пришёл в непонятный мне восторг, прочитав её “сказы”, заходил ко мне, читал отрывки вслух, но я только пожимал плечами.

– Тебе нравится, Юра? Печатай!

После двух публикаций “сказов” Юра загрустил и вскоре забыл о своём временном увлечении.

Поликарпыч весьма ревниво относился к тому, что именно он является основоположником мифологического взгляда на жизнь в современной русской поэзии. Правда, в своих “Воззрениях” он одобрил вклад в “мифологическую традицию” Пушкина, Лермонтова и особенно Тютчева, бегло похвалил Есенина, а из современных поэтов – Николая Тряпкина, Виктора Лапшина и, со многими оговорками, Николая Рубцова... Но, на мой взгляд, глядя в эту сторону, он сознательно или случайно не заметил того, чего нельзя было не заметить. Вспоминая о том, как проявилось мифологическое сознание в его поэзии, он пишет:

“Из меня повалили богатыри, мужики, цари, солдаты, лежебоки, дети, старики – и всё это был один человек. Мир заполнили женщины, русалки, земли, небеса, долины, пустыни, поля, леса, горы, реки, деревья, кусты, ветки, листья, птицы, бабочки, пчёлы, змеи, дома, храмы, свечи, иконы, облака, бездны, щели, дороги, камни, пыль, дымы, туманы, реки, звёзды, поезда, колёса, обрывки газет, заборы, стены, окна, стёкла, стаканы, стопки, бутылки, дождь, снег и многое другое, и всё в образах...”

Поразительно, что, понимая это, Кузнецов не заметил великого эпоса, созданного до него в предельно мифологических поэмах Александра Твардовского – “Страна Муравия” и “Василий Тёркин”...

*С утра на полдень едет он.
Дорога далека.
Свет белый с четырёх сторон,
И сверху — облака
Земля!
На запад, на восток,
На север и на юг...
Припал бы, обнял Моргунок —
Да не хватает рук...*

Начнём с того, что героями этих поэм являются два богатыря русской истории – крестьянин и воин, и жизнь их окружена не меньшим количеством подробностей, “высыпавшихся” из Твардовского с не меньшей сверхъестественной мощью... Из “Муравии” “сыплются” лошади, телеги, колёса, кнуты, бутылки... И конца перечислению не будет! Начнёшь перечислять образы и предметы войны, а война – не менее значительное состояние человечества, нежели мир! – и “посыплются” стволы, снаряды, каски, пулемёты, полевые кухни, санитарки, шинели, бинты, ордена... А сражение Тёркина с немцем – это поистине эпическая, мифологическая картина, не менее значительная, нежели единоборство Ильи Муромца с Идолищем Поганым или Александра Невского с Магистром Тевтонского Ордена.

Но есть у Твардовского и третья поэма – “Дом у дороги”, – уже в самом названии которой заключены два великих символа русской истории, столь много значившие и для сердца самого Кузнецова: “Дом” (у него даже поэма есть с таким названием!) и “Дорога”... А четвёртая поэма Твардовского носит не менее мифологическое имя – “За далью даль”, – хотя, к сожалению, несколько конъюнктурно привязанная к задачам времени, она, конечно, уже не имела той символической мощи, которой обладают “Страна Муравия” и “Василий Тёркин”.

Да и не только у Твардовском надо вспомнить, перейдя на мифологическую стезю. Жаль, что в поисках своих предшественников в истории сказочного сознания, Поликарпыч нигде не вспомнил ещё одного необыкновенного поэта советской эпохи, душа которого была занята освоением мифологии расы

и мифологии власти, — Даниила Андреева с его до сих пор не прочитанным и не осмысленным “Ленинградским Апокалипсисом”:

*Ночные ветры! Выси чёрные
Над снежным гробом Ленинграда!
Вы — испытанье, в вас — награда;
И зорче ордена храню
Ту ночь, когда шаги упорные
Я слил во тьме Ледовой трассы
С угрюмым шагом русской расы,
До глаз закованной в броню.
.....
Дыханье фронта здесь воочию
Ловили мы в чертах природы:
Мы — инженеры, счетоводы,
Юристы, урки, лесники,
Колхозники, врачи, рабочие —
Мы злые псы народной псарни,
Курносые мальчишки, парни,
С двухильным нравом старики.*

Этот, как его называет Андреев, “сверхнарод” ничуть не уступает по своей значительности “сверхнароду” стихов и поэм Кузнецова или Твардовского.

* * *

Из нашего соглашения о “разделе сфер влияния” в отделе поэзии порой происходили весьма курьёзные случаи редакционной жизни. Однажды ко мне пришла достаточно молодая поэтесса с естественной просьбой:

— Станислав Юрьевич, прочитайте, пожалуйста, мои стихи. И, если они вам придутся по душе, помогите опубликоваться в “Нашем современнике”!

— Золотко! — ответил я. — У нас с Кузнецовым заключён договор о том, что поэзией занимается он, а я в судьбу его епархии не вмешиваюсь.

— Я понимаю, — жалобно застонала просительница, — потому и пришла к вам, что боюсь его. Но вы хоть посмотрите мои стихи и скажите, стоит ли мне идти к нему?

Делать нечего. Я тяжело вздохнул и перелистал тоненькую стопку стихотворений. Вариант был самым невыгодным для неё: больших достоинств для публикации в журнале у стихотворений не было, но и резкого осуждения они не заслуживали, словом, можно и напечатать, но лучше этого не делать. Ни Богу свечка — ни чёрту кочерга. . .

— Идите на первый этаж к Кузнецову, — сказал я. — Он уже на работе.

— Но вы, Станислав Юрьевич, напишите на моих стихах какую-нибудь свою резолюцию! — взмолилась поэтесса, цепляясь за последнюю надежду. Однако я понимал, что писать нечто одобрительное, то есть распоряжение Поликарпычу, в этих обстоятельствах я не могу, и нашёл выход из положения:

— Передайте Юрию Поликарповичу, что я отнёсся к вашим стихам благосклонно. . . Слово-то какое придумал дипломатическое!

Воодушевлённая женщина ушла, но через десять минут дверь в мой кабинет заскрипела, и я снова увидел её с заплаканным лицом. Мне стало её жалко.

— Что с тобой, золотко? — задушевым голосом спросил я.

— Ничего не получилось, — она едва сдерживала рыдания.

— Ну, расскажи, как всё было?

— Я вошла, протянула ему стихи. Он молча их взял, перелистал, не говоря ни слова встал и открыл передо мною дверь. . .

— Но ты успела сказать, что Куняев отнёсся к стихам благосклонно?

— Да, успела, — плечики её подрагивали, — но он ответил мне. . . — слёзы не давали ей говорить. . .

— Что он ответил тебе? — я уже почти негодовал на Кузнецова.

— Он ответил. . . что. . . в этом кабинете. . . Куняев — это я. . .

И тут я искренне расхохотался.

А за год до его смерти в 2002 году, когда мы праздновали моё 70-летие, он вышел к микрофону с кипюю листочков и одно за другим прочитал несколько моих стихотворений, чтобы доказать одну мысль о присутствии отроческого, ребяческого, простодушного понимания жизни, которое удивляло его в моих стихах разных лет. А выступление своё Юра начал со стихотворения “Мальчик”:

*Он сегодня катался на льдине,
весь промок, но домой не идёт.
Захмелев от весенней теплыни,
он костёр на песке разведёт.*

*Будет молча слоняться средь лодок,
от прохлады подняв воротник,
этот миру неведомый отрок,
вечный мальчик, мой тайный двойник...*

Кстати, любопытно, что мы, не сговариваясь и не подражая друг другу, называли почти все свои книги строчками из своих стихотворений: “Метель заходит в город” — “Во мне и рядом даль”, “Отпущу свою душу на волю” — “Мать сыра земля”, “Край света — за первым углом” — “Сквозь слёзы на глазах”, “После вечного боя” — “В окруженье порожистых рек”...

Чтоб не обращаться больше к тому, что выдумывают о наших отношениях разные *огрызки*, я решил опубликовать Кузнецовские дарственные надписи на всех его книгах, сохранившихся у меня, которые он дарил мне, начиная с 1974 года.

“Во мне и рядом — даль”. М., “Современник”, 1974:

Станиславу Куняеву с любовью и уважением. Юрий Кузнецов. 13.XI.74 г<ода>.

“Край света — за первым углом”. М., “Советский писатель”. 1976:

Станиславу Куняеву на славу и единство. Юрий Кузнецов. 29.VII.76.

“Выходя на дорогу, душа оглянулась”. М., “Молодая гвардия”. 1978:

Станиславу Куняеву дружески. Ю. Кузнецов 8.VIII 78 г<ода>.

“Отпущу свою душу на волю”. М., “Советский писатель”. 1981:

Станиславу Куняеву — Юрий Кузнецов дружески и сердечно 28.IX.81 г<ода>.

“Душа верна неведомым пределам”. М., “Современник”. 1986:

Станиславу Куняеву от верного ему человека. Юрий Кузнецов 26.2.87.

“После вечного боя”. М., “Советский писатель”. 1989:

Станиславу Куняеву с горячим объятием русского человека Юрий Кузнецов. 14.12.89 г<ода>.

“Пересаженные цветы”. М., “Современник”. 1990:

Станиславу Куняеву с приветствием духа, всегда твой Ю. Кузнецов 17.09.90 г<ода>.

“До свиданья! Встретимся в тюрьме”. М., “Советский писатель”. 1995:

Станиславу Куняеву, старшему собрату по перу и духу. На память. Юрий Кузнецов. 25.06.96.

“Русский зигзаг”. М., “Московское отделение СП России”. 1999:

Станиславу Куняеву, расчистившему мне путь в поэзии. Ю. Кузнецов. 31.05.99 г<ода>.

“Путь Христа”. М., “Советский писатель”. 2001:

Станиславу Куняеву на славу, образ и подобие. Ю. Кузнецов. 11.02.2001 г<ода>.

Станиславу Куняеву на удивление его духа, на досуг его сердца. Благодарный автор. Юрий Кузнецов. 11.02.2001 г<ода>.

Последние два автографа сделаны 11.02.2001 года в юбилейный день рождения поэта (60 лет), который мы в редакции отметили, видимо, так самозабвенно, что он подарил мне аж два одинаковых экземпляра книги “Путь Христа”, но с разными дарственными надписями.

Не думаю, что какой-нибудь отиравшийся рядом с Кузнецовым издатель или критик-функционер мог получить от поэта книги со словами: **“старшему собрату по перу и духу”, “от верного ему человека”, “расчистившему мне путь в поэзии”, “всегда твой Ю. Кузнецов”**. Такими откровенными признаниями он разбрасываться не любил. Поэтому он не мог сказать Чусовитину: “Зачем ты читаешь Куняева – у него слово не живёт”. Смешно подозревать, что такой нелicenseмерный, такой прямолинейный и независимый ни от чьего мнения человек, как Юрий Кузнецов, мог говорить и писать сегодня – одно, а завтра – другое. Не надо мерить его по себе. Он сделан из другого материала, нежели вы. Он мог быть грубым, надменным, мог пребывать в гордыне, но чтобы льстить кому-то, быть неискренним – ни за что!

Как-то мне позвонил Вадим Кожин и сказал, что в гостях у него Юрий Кузнецов, которому он прочитал моё стихотворение “Случай на шоссе” из новой книги, и Юре оно настолько понравилось, что он хочет, чтобы я посвятил стихотворение ему.

– Но и я, – сказал мне Вадим, – прошу тебя посвятить это стихотворение мне. Так что выбирай!

– Дима, – ответил я Кожину, – мы с тобой старые друзья аж с 1960 года. И конечно, при всём уважении к Юрию Поликарповичу, я посвящаю стихотворение тебе.

С той поры во всех моих книгах стихотворение так и печаталось:

Случай на шоссе

Вадиму Кожину

*Птица взмыла, но не удержалась, —
видно, воздух исчез под крылом,
и вцепилась в стекло, и осталось
лишь пятно на стекле лобовом.*

*То что — птица, я понял не сразу,
на баранке замлела рука.
Я попал на хорошую трассу —
можно выжать до ста сорока!*

*Что мне помнить какую-то птаху,
если надо глядеть и глядеть,
чтобы вдруг на обгоне с размаху
в голубой березняк не влететь.*

*Я — в машине. А значит, не волен
изменить предначертанный путь...
Как хотите, но я не виновен:
всё равно бы не смог отвернуть,*

*потому что вдоль вешнего леса,
где ничто в этот миг не мертво,
с тяжким свистом несётся железо,
попирая законы его.*

Но вскоре Юрий Кузнецов написал и прочитал мне ответное стихотворение:

Пятно

*Вперёд, вперёд, пока ещё цела
И голова, и ноги, слава Богу!
Дорога человека увлекла...
А воробей перелетал дорогу.*

*Как мелкий вор, он в клюве нёс зерно
И не успел заметить той причины,
Что превратила страх его в пятно
На ветровом челе чужой машины.*

*Остановил машину человек,
Сорвал в степи сухой пучок полыни
И стёр пятно — и позабыл навек...
Нельзя перелетать чужой гордыни.*

Видимо, он был раздосадован, что я посвятил своё стихотворение Кожинову, а не ему.

* * *

Как это ни прискорбно, но в журнале “Наш современник”, который стал оплотом русского национального самосознания при двадцатилетнем редакторстве моего предшественника Сергея Васильевича Викулова, до меня не было напечатано ни одного стихотворения Юрия Кузнецова. Трудно понять почему Викулов, искренне открывавший нараспашку двери журнала перед Распутиным, Беловым, Шукшиным, не решался по настоящему открыть Рубцова, опасался сближения с Кожиновым, а о Кузнецове и слышать не хотел. Скорее всего, мифологическая сложность поэзии Кузнецова и его порой демонстративное отстранение от злости дня и от основ официального советского патриотизма были, мягко говоря, непонятны ему. Да и в других журналах Кузнецова печатали весьма редко и неохотно, и читатели Советского Союза могли знакомиться с его поэзией лишь по книгам. Неудобный он был поэт и для “русско-советских правых”, и, тем более, для “еврейско-советских левых”.

Но зато с 1989 года, когда Викулов передал “Наш современник” в мои руки, для Юрия Поликарпыча наступила счастливая и благодатная пора. За эти последние 15 лет его жизни в журнале было опубликовано 26 стихотворных подборок – всего 243 стихотворения! В сентябрьском номере 1997 года – 20 стихотворений, в апрельском 1998-го – 13 стихотворений, в январском 2002-го – целых 25! – почти небольшая книжка. Помнится, когда в 1836 году Пушкин напечатал в “Современнике” 20 стихотворений Тютчева, это стало сенсацией для всей тогдашней читающей России.

В нескольких номерах 2000 и 2001 годов, как говорится, “с колёс” публиковалась поэма о Христе (“Детство Христа”, “Юность Христа”, “Путь Христа”) и заключительная часть – “Сошествие в ад” (№ 12, 2002). Последняя прижизненная подборка (12 стихотворений) увидела свет в сентябрьском номере за 2003 год.

А ещё надо вспомнить блистательный Кузнецовский перевод первого великого памятника древнерусской литературы – “Слова о законе и благодати” митрополита Илариона. Да не забыть бы ещё его рассказы – всего их было три, и все исполнены рукой мастера-прозаика... В первую годовщину смерти поэта – в ноябре 2004 года – мы опубликовали в журнале его неоконченную поэму “Рай”.

А сколько за эти годы ещё при его жизни было напечатано всяческих размышлений о его творчестве известнейших наших авторов – В. Кожина, С. Небольсина, В. Личутина, священников о. Дм. Дудко и о. А. Шаргунова. А после смерти – Валентина Распутина, Дмитрия Ильина, Ларисы Барановой, Владимира Смирнова, Андрея Воронцова... Вспоминается и письмо, подписанное тридцатью крупнейшими писателями России, обличающее руководство телеканалов, организовавших заговор молчания вокруг смерти знаменитого русского поэта (“НС”, № 1, 2004).

А если говорить о других посмертных публикациях, то это были стихи “Поэт и монах”, “Молитва”, стенографические записи его лекций, сделанные студенткой Высших литературных курсов Мариной Гах... Не всё я вспомнил. Но и этого достаточно, чтобы сказать: не было в истории наших толстых журналов – ни в XIX веке, ни в “Серебряном веке”, ни в железном советском – ничего подобного... Ни Тютчев, ни Блок, ни Некрасов, ни Есенин, ни Твардовский не удостоивались со стороны печатных изданий такого внимания. В сущности, в самое неблагоприятное для литературы время мы сделали всё, чтобы в читательском сообществе возник своеобразный культ его творчества. И чего стоят после этого до сих пор возникающие на страницах жёлтой прессы измышления о какой-то зависти и неприязни к Юрию Поликарповичу как к поэту, которые якобы испытывал поэт и главный редактор журнала “Наш современник” Станислав Куняев! Да я всю жизнь гордился тем, что он живёт и работает рядом с нами и среди нас.

Слухи и сплетни вокруг наших отношений с Поликарпычем удивляют своей глупостью. Так, например, “Литературная Россия” (№ 24, 2012) публикует слова, якобы произнесённые Кузнецовым: “Всё близкое окружение Куняева ниже его... Видимо, ему это нравится”.

Моим “близким окружением” в 60–80-е годы были Вадим Кожинов, Анатолий Передреев, Николай Рубцов, Татьяна Глушкова, Игорь Шкляревский, Владимир Соколов, Василий Белов, Валентин Распутин, Вячеслав Клыков, Георгий Свиридов. Ну, неужели кого-то из них я мог считать “ниже себя”? Отношения с каждым из этих людей были для меня плодотворны, интересны, увлекательны, сердечны, необходимы. Когда же я возглавил журнал “Наш современник”, то в кратчайшее время ввёл в редколлегию или в число основных авторов журнала митрополита Санкт-Петербургского Иоанна, Игоря Шафаревича, Александра Проханова, Илью Глазунова, Татьяну Доронину, Сергея Кара-Мурзу, Владимира Крупина, Михаила Лобанова, Сергея Небольсина, Александра Сегеня, Юрия Лощица, Николая Рыжкова, Валерия Ганичева, Андрея Убогого... Всех не перечислить. Вот какие люди мне нравились! Да и сам Юрий Кузнецов именно с конца 80-х годов стал одним из самых любимых и влиятельных сотрудников и авторов журнала. Поэтому он никак не мог бы произнести те глупости, которые приписал ему Чусовитин. Ибо Юрий Поликарпович, в отличие от Чусовитина с Огрызкой, был умён, благороден и сплетен не сочинял.

* * *

Однажды мы разговорились об истоках зла на земле, о его живучести, о его символах. Поликарпыч, взяв нож, разрезал яблоко не сверху вниз, вдоль плодоножки, а поперёк и показал мне рисунок семенного гнезда, образовавшегося после разреза – пятиконечную звезду:

– Вот символ зла – нутро яблока, которым змий соблазнил в Раю любопытную Еву.

Я горько усмехнулся:

– А хочешь, Юра, я тебе расскажу о символах сегодняшнего зла? – И я поведал Кузнецову о трёх впечатлениях жизни, случайным свидетелем которых был сам...

Я спешил на работу в разгар гайдаровских реформ, когда на московских улицах появились нищие. На стыке Цветного бульвара и Садового кольца стал переходить бульвар, протискиваясь сквозь ряды машин, стоявших перед красным светофором, и вдруг увидел, как в стороне от меня замелькали какие-то фигуры. Подойдя к ним ближе, я понял, что дерутся два инвалида. Один был без обеих ног, ампутированных по колена, сидел на деревянной плоской тележке с четырьмя колёсами и, отталкиваясь кистями рук от асфальта, ловко юлил между сверкающими лаком и никелем автомобилями, стараясь уклониться от ударов, которые пытался ему нанести другой инвалид – высокий одноногий парень с двумя костылями под мышками. Но когда он взмахивал одним костылём, то терял равновесие, то и дело промахивался, едва не задевая машины, попадая или по тележке, или вскользь по ватнику безногого. Он прогонял чужака с обжитого места, выгодного для нищенства... Холёные люди из “Мерседесов” и “Ауди” опускали стёкла, смеялись,

глядя на разъярённых калек. Но загорелся зелёный свет, поток машин двинулся, и я, потрясённый, потерял из виду их обоих.

— Юра! — сказал я. — У тебя есть стихотворение о том, как на мосту “одноногий поляк увидал одноногого Ганса”, как они посылали друг другу “глухие проклятья”, как с трудом, чтобы разойтись на узком мосту, оперлись друг на друга. А закончил ты стихотворение строкой: “Человечество, вот твои ноги!” Но вот эта русская встреча инвалидов, по-моему, страшней! Дарю её тебе.

— Не бойтай лишнего! — буркнул взволнованный Поликарпыч и взялся за бутылку. — Рассказывай дальше!

Вторая история, на мой взгляд, была ужасней первой. Будучи в том же году в Калуге, я пришёл на рынок в мясные ряды. Разглядывая прилавок, приценивался к мясу, торговался и вдруг увидел рядом с собой худого, небритого человека с впавшими щеками в заношенном сером плаще с капюшоном, с матерчатой грязной сумкой, перекинутой через плечо. Он медленно двигался, обходя одних покупателей, молча отгесняя других от каменного прилавка, за которым с той стороны стояли торговки мясом. И вдруг из-под хламиды, в которую он был одет, словно птичья лапа с коготками, вылетела его рука, цепко схватила из мясной кучи ближний к нему кусок и бросила в сумку. Всё это он проделал мгновенно, молча, на ходу, не опуская лица и взгляда, которым сверлил и гипнотизировал торговков. Возможно, торговка, глядевшая в его лицо со сверлящими глазами, и не видела движения коггистой лапы, но хищник уже миновал её и через несколько шагов повторил свою вылазку. Другая торговка вроде бы попыталась крикнуть, но крик застыл у неё в горле. Да и я замер на месте от увиденного. Меня, как и торгующих мясом женщин, поразило, что такое стало возможно, что, коль человек ничего не стесняется и ничего не боится, значит, пришло такое время. И от внезапного осознания этого у людей язык присыхал к нёбу, и руки окаменевали. Коль всё дозволено, то лучше сделать вид, что ты ничего не видишь. . .

Кузнецов выслушал меня. Помолчал. И, как бы говоря самому себе, промолвил:

— Ну, да, я же об этом писал. О том, что “тамбовский волк выходит на дорогу” . . . Вот он и вышел. . .

А третий мой рассказ был о том, как я шёл по Москве мимо литфондовского детского сада, а за забором на детсадовской территории стоял мальчик лет пяти. Он держался за железные прутья ограды обеими руками и, прижавшись к ним лицом, повторял одни и те же слова, обращаясь не к людям, а куда-то в пространство:

— А я русский! А я русский! . .

И вот тут Юра был потрясён. Он с побледневшим лицом допил свой стакан и пробормотал, что это страшнее всего, о чём он писал до сих пор. . . Наверное, потому что было вырвано не из книг Розанова или Достоевского, а из жизни, которая бушевала за окном.

— Юра, — сказал я, — дарю тебе эти сюжеты.

Но он подумал и ответил, что переключивать их на язык мифов или символов — напрасный труд, потому что сделать их страшнее, чем они есть, невозможно.

Я видел, что после моих рассказов Поликарпычу чуть ли не стало плохо. Наверное, потому что в каждом из них он видел приметы светопреставления. Таким людям, как он, при всей внешней мужественности, тяжело жить на белом свете с их провидческим даром. Ведь даже его прекрасное стихотворение “Певучий голос” — о голосе любимой женщины:

*Он звенит, он летит, он играет,
Как малиновка в райском саду,
Даже платье твоё подпевает,
Мелодично шумит на ходу, —*

заканчивается у него внезапной мыслью о близком Апокалипсисе:

*Даже волосы! Каждый твой волос
От дыханья звенит моего,
Я хотел бы услышать твой голос
Перед гибелью света сего.*

И потому после тех трёх историй, увидев страдание на его лице и тоску во взгляде, я спохватился:

“Ну, зачем, зачем я отяжелил его душу лишней тяжестью! Он ведь не может утешить себя, как Рубцов, написавший:

*И какое может быть крушение,
Если столько в поезде народу...*

Он-то знает, что крушение не только может быть, но что оно непременно будет... Или уже произошло”.

Вот почему многими его стихами можно восторгаться, можно ужасаться, но очень трудно жить ими. Однако, если вы имеете волю и бесстрашие знать, в каком мире мы живём, то читайте. И будьте готовы к тому, что ваш лоб будет пробит не “золотой стрелой Аполлона”, а железными гвоздями Юрия Кузнецова. Знание, которым он делился с нами, не для слабых. У него не было, к сожалению, пушкинской способности фильтровать “зло мира сего”, он не щадил ни самого себя, ни “слабых сих”, то есть нас. **“На сегодняшнюю жизнь смотреть страшно, – сказал он в одном из интервью, – и многие честные люди отводят глаза. Я смотрю в упор”.**

(Окончание следует)